



INSPIRIA

ЖАН-ЖАК
ФЕЛЬШТЕЙН

В ОРКЕСТРЕ АУШВИЦА

Книга основана
на реальных событиях.
Такой оркестр
существовал
на самом деле.



INSPIRIA

Жан-Жак Фельштейн
В оркестре Аушвица
Серия «Novel. Большая
маленькая жизнь»

текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64860741

*Жан-Жак Фельштейн. В оркестре Аушвица: Эксмо; Москва; 2021
ISBN 978-5-04-119448-2*

Аннотация

1943 год. Юная Эльза попадает в Освенцим. Кажется, что гибель неминуема и с каждым отбором она может попасть туда, откуда никто уже не возвращается... Но кое-что помогает ей выжить. Оркестр под предводительством Альмы Розе, куда Эльзу взяли играть на скрипке.

Пятьдесят лет спустя ее сын Жак, вознамерившись узнать больше о прошлом рано умершей матери, начинает собственное расследование. Эта книга – результат бесконечных писем, путешествий и бесед с участницами оркестра, которые поделились своими историями, полными боли, страха – и сестринства. Эта история настоящая, а оттого еще более пугающая и пронзительная.

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Пролог | 9 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 36 |

Жан-Жак Фельштейн

В оркестре Аушвица

Jean-Jacques FELSTEIN

DANS L'ORCHESTRE D'AUSCHWITZ

Copyright © Éditions Imago, 2010

© Клокова Е., перевод на русский язык, 2021

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет за собой уголовную, административную и гражданскую ответственность.

* * *



«Мне всегда страшно читать о войне. Охватывает такой ужас, что к горлу сразу подкатывает ком. А ведь книга Фельштейна – это свидетельства настоящих оркестранток, оказавшихся в лагере... Но по мере чтения я поняла, что есть чувство более сильное, чем чувство страха. Это чувство – надежда. Именно она помогла этим девушкам выжить несмотря ни на что».

Дарья Захарченко, редактор отдела современной зарубежной прозы

* * *



В память о Филипе и Жаклин.

В написании этой книги мне помогали многие, в том числе Рут Леви, Луи Миллер, Франсуаза Эссель, Бертиль Эссель, Ален Рустенхольц, Сандрин Трене, Флоранс Моргенштерн, Мари-Кристин Оттен Пешио, Ролан Мейер, а на заключительном этапе – Кароль Вернон.

Моя вечная благодарность Виолетте, Аните, Хильде, Эве, Регине.

Спасибо и прощайте, Элен, Иветт, Дора, Хелена, Зофья, Сильвия.

Спасибо Тамаре Ландау за то, что помогла осознать законность моего существования... и начать жить.

И наконец, благодарю всех детей и молодых людей, которым, смею надеяться, я помог за последние тридцать лет. Они придали смысл моему существованию.



Жан-Жак Фельштейн с матерью



INSPIRIA

Загляните в яркие миры Inspiria!

Мы выбираем для вас вдохновляющие истории и превращаем их в особенные книги.

«Инспирия» дарит эмоции и новый опыт чтения самым требовательным читателям. Каждая книга содержит дополнительные материалы, в полном объеме раскрывающие ее мир. А личные отзывы создателей помогут вам найти свою книгу среди лучших. Эти сюжеты хочется пересказывать, а книги не выпускать из рук.

Для этой книги доступны следующие дополнительные материалы:

– плейлист: <https://music.yandex.ru/users/eksmolive/playlists/1088>

Пролог

Кёльн, лето 1958-го

Мне снится кошмар. Небо в этом кошмаре серое. Нас много – тысячи плотно прижатых друг к другу голых людей, которых загнали на бескрайнюю эспланаду. Крик из тысяч разверстых ртов сливается воедино и звучит под открытым небом так, словно отражается от гладких стен гигантской ванной комнаты. Успокаивает одно – ты у меня за спиной, на расстоянии оклика. Ты не говоришь со мной, только озираешься, как безумная. Может, тебе неизвестно, что я здесь? Давление – трудно определить, откуда оно исходит – заставляет людскую массу тронуться с места, вперед, к металлическому portalу, ведущему на лестницу. Мы начинаем подниматься толпой, пихаемся, все громче кричим. С каждой ступенькой мой страх усиливается. Крик оглушает. Мы бредем по коридору – к пустоте. Шедшие впереди исчезли, в том числе ты. Я знаю, что обязан броситься вниз, и вдруг понимаю: все мы находимся на гигантском трамплине, над плавательным бассейном. Белый кафель и синяя разметка дорожек видны очень четко, воды над ними нет. Мы должны прыгнуть, нас сбрасывают, чтобы убить...

Я просыпаюсь – во сне у меня закончился воздух. Я один.

Ты ушла на работу.

В детстве этот сон был первым мысленным отображением массового уничтожения — нашего уничтожения нацизмом. Это видение катастрофы я воссоздал, опираясь лишь на то, что воспринял от тебя, когда пытался установить контакт между нами. Ты предпочла ничего не говорить о том, что вынесла за несколько лет до моего появления на свет. Когда-то у меня было буйное воображение, но я знал — благодаря тебе, — что ужас наводят не рогатые демоны, летающие драконы и бешеные волки, населяющие воображение маленьких детей. В глубине души я понимал — нет, догадывался, — что та катастрофа была скорее всего глупым, технологическим, анонимным и гигиеническим кошмаром, бойней, в точности исполненной теми, кто ее программировал.

Я сочувствовал тебе всей душой, осознавая, что неспособность уделить мне внимание углубляет разделяющую нас бездну. Пережитое тобой внутреннее разрушение было почти тотальным, ты не находила сил даже обдумать его, а тем более описывать мне.

Мучительны были дурные сны, изматывавшие душу и мозг: ты просыпалась с криком и смотрела невидящим взглядом в пустоту, отец никак не мог тебя успокоить. Я знал: заговаривать с тобой об этом нельзя ни в коем случае. Лишь много времени спустя я осознал, что мой поцелуй на ночь иногда волшебным образом защищал тебя от этих кошмаров. Поцелуй был обязателен, как воинская присяга. Что бы

ни происходило между нами, как бы я ни обижался на тебя, каждый день нашей жизни заканчивался поцелуем. А еще нас объединяла твоя мигрень: ты страдала так жестоко, что отталкивала любого решившего приблизиться к тебе человека, на большее сил не хватало. Облегчать боль я не умел и перенимал ее, зная, что не рискую ослабить тебя этим, что ничем иным ты меня не одаришь.

Я быстро понял, что ты не можешь присутствовать в моей жизни постоянно, что было бы неуместно просить тебя о большем. Твое поведение и атмосфера нашего дома ясно давали понять, что я не имею права проявлять недовольство или обиду. Это выглядело бы нелепо перед лицом твоих страданий.

Мы жили тогда все вместе в маленьком доме, и другие члены семьи – *твоей* семьи, как я всегда ее называл, – стремились тебя поддержать, защитить, чем еще больше нас разделяли. Зачем, по какому праву они вмешивались, вставляли между нами? С какой стати имели собственный взгляд на наш счет и почему ты позволяла им иметь таковой? Я был развит не по годам, требовал слишком многого, реагировал на все излишне болезненно, на что ты могла отвечать, только чередуя апатию со взрывами гнева. Когда ты была слишком занята, со мной возились другие...

Я нуждался в тебе, а ты не всегда оказывалась рядом, чтобы утешить, поддержать, объяснить. Ты упорно отказыва-

лась отвечать малолетнему сыну на вопросы о своем прошлом и моих корнях.

Сколько себя помню, я всегда был настороже, ожидая неведомой катастрофы, которая в лучшем случае разлучит нас, а в худшем – убьет обоих. Неназываемое событие, груз которого ты несла в одиночестве, произошло до моего рождения.

Я звал тебя, а ты откликалась не всегда. Этот комплекс фрустрации, такой стыдный и так тщательно скрываемый, по мнению нашей родни – они считали тебя святой, – помнил меня на всю оставшуюся жизнь.

Ты позволяла мне расти в стандартной для 50-х годов обстановке безмолвия. Необычными были две детали – книги и портрет ребенка, сделанный сангиной и пастелью на крафтовой бумаге. На нем была изображена трехлетняя Лидия в сереньком костюмчике на пляже в Кнокке¹. Ее светлые волосы, подстриженные по моде 20-х годов, оттеняли пухлые румяные щеки. Вся она выглядела умиротворенно округлой, и портрет работы довольно известного художника стал призом девочке, которую в конце Прекрасной Эпохи называли «самым красивым ребенком пляжа»! Портрет в стильной раме висел в гостиной, над расстроенным пианино, напротив чудовищно уродливого «Натюрморта с фазаном», а-ля гол-

¹ Кнокке-Хейст – город на побережье Северного моря, курорт на крайнем севере Бельгии, на границе с нидерландской провинцией Зеландия... *Здесь и далее прим. перев.*

ландцы. В эту гостиную дозволялось «зайти на минутку и ни в коем разе ничего там не повредить».

На полках стояло штук тридцать романов: мушкетерская трилогия Дюма, «Удары шпаги господина де ла Герша, или Против всех, вопреки всем» и «Бель-Роз» Амедея Ашара², полное собрание сочинений графини де Сегюр³. Каждый том был в обложке из синей или коричневой бумаги, на школьных этикетках кто-то аккуратно вывел перьевой ручкой названия. Книги выглядели любимыми, но давно не читанными. Напоказ их не выставляли – хранили в глубине деревянного шкафа, занимавшего целую стену на кухне. Это были «книги тети Лидии». Я читал их жадно и берег, как семейные реликвии, не ведая, что случайно угадал.

Итак, у меня был портрет девочки Лидии, книги для юношества и имя взрослой женщины – «тети Лидии». Три разных возраста загадочной героини, слишком молодой, чтобы быть чьей-нибудь теткой. Никто – и ты меньше всех – не желал просветить меня на ее счет.

Я сумел связать Лидию и невнятное, непроницаемое для меня прошлое только через много лет. Сначала пришлось пережить личные катастрофы и пропитаться влиявшими на всех нас эманациями Катаклизма, ничего об этом не зная.

Прости за резкость, но распад семьи я воспринял как на-

² Луи Эжен Амедей Ашар (1814–1876) – французский журналист, романист и драматург XIX века.

³ Графиня де Сегюр – одна из самых читаемых детских писательниц Франции.

цистские зверства. Я был центром детской вселенной, вы с отцом – ее подпорной аркой. Все мы были не слишком сильными, и конструкция то и дело опасно шаталась. Ваше расставание уничтожило остатки моего душевного покоя.

Мне снились кошмары об оторванных руках и ногах, вывалившихся кишках, кровавых ранах. Во сне я искал вас обоих в горящих городах, среди руин, в обездоленных пейзажах.

Твой отъезд в Германию развеял по ветру все, что от меня оставалось, и к этому я оказался готов еще меньше, чем к вашему разводу. Ты не уехала – сбежала, пока я был, как тогда говорили, «в колонии». Дом отдыха для еврейских детей располагался на побережье Ла-Манша, там я впервые столкнулся с понятием «война 1939–1945». И в первый раз в жизни остался один.

Я прожил два месяца, как в тумане, объятый ужасом. Я утратил контроль над своим телом и мочился в постель, лишился всего, что имел: если не отдавал вещи добровольно, их у меня отбирали или крали. Я думал об одном – когда и как снова увижу тебя. Ты вернулась в Германию, хотя для всех нас эта страна не была «нейтральной»: стоило мне услышать ее название, душа отзывалась смутным страданием, унаследованным от тебя.

Твой отъезд слишком сильно напоминал изгнание. В нашей разлуке материализовался мой вечный страх: тебя увозит поезд, а я не способен вытащить тебя из вагона и навечно остаюсь один на платформе.

Я выбрался из раковины и продолжил взрослеть только после того, как было условлено, что я стану регулярно приезжать в Кёльн, где ты открыла косметический салон.

Началась разделенная надвое жизнь. В девять лет я самостоятельно пересекал пол-Европы, чтобы увидеть мать, а потом один возвращался к отцу. Меня это не пугало: я выросл и сохранял вас обоих... никогда не знал наверняка, будут меня ждать на вокзале и в аэропорту или нет.

Глядя на приближающиеся колокольни Кёльнского собора, я всякий раз беспокоился: «Она меня встретит? Не опоздает? А если вдруг... Кто достанет мой чемодан из багажной сетки?» Эта самая сетка долго оставалась мерилom моего роста... Перед каждой поездкой отец снабжал меня билетом, на котором писал по-немецки: *Меня зовут Жан-Жак, моя мать живет на Хабсбургerring 18–20, номер ее телефона – 2 22 01.* Этот ритуал утверждал меня в мысли, что ты можешь не прийти...



Все прояснилось благодаря «Великому диктатору»⁴ Чарли Чаплина и мраморной доске у входа в школу. Ее установили в память об учениках и учителях, депортированных в 1942-м и не вернувшихся домой.

В такой семье, как наша, я не мог не услышать простого слова *депортация*. Да, все вы, члены семьи по материнской линии, составили заговор молчания: не следовало упоминать ни *прежние* времена, ни людей *прежнего* времени, ни то, что с ними случилось. И все-таки периодически речь о запретном заходила.

Много позже я пришел к выводу, что родственники сговорились, когда ты, Эльза Выжившая, вернулась из *Берген-Бельзена*⁵, а твой отец, Лидия, ее родственники, Роза, старшая сестра моей бабушки, Давид, отец Лидии, погибли в Аушвице. Зачем был заключен этот «пакт»? Во-первых, он давал шанс изменить ваши жизни, что было непросто, а во-вторых – и в-главных – защищал меня, первенца, родивше-

⁴ «Великий диктатор» (1940) – классический фильм Чарли Чаплина, политическая сатира на нацизм и лично на Гитлера.

⁵ Берген-Бельзен – нацистский концентрационный лагерь, располагавшийся в провинции Ганновер между деревней Бельзен и городом Берген. В августе 1944 года сюда перевели женщин из Освенцима, а в январе 1945-го – и часть мужчин. Приказом рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера от 15 апреля 1945 года концлагерь Берген-Бельзен был добровольно передан на попечение 21-й армейской группе союзных сил (объединенное англо-канадское подразделение).

гося *после*. Я участвовал в заговоре молчания и затыкал уши, стоило прозвучать «противоправному» слову.

Иногда на семейных сборищах я вдруг становился свидетелем того, как десять взрослых начинали шептаться на манер мальчишек, рассказывающих похабные анекдоты. Вот тогда-то и произносились запретное *слово* и имена Лидии и Розы, но никогда – Давида и твоего отца. Меня выдворяли из комнаты: «Пойди почитай, милый...»

Постепенно «слово» наполнялось смыслом: *депортация* – место, откуда не возвращаются. Становились понятнее и обрывки нечаянно подслушанных разговоров. Интуиция подсказывала, что именно приключилось с «тетей Лидией». При мне взрослые называли ее «тетя», но не потому, что она была взрослой и к ней следовало проявлять уважение. Дело было в том, что эта самая Лидия, навечно оставшаяся малышкой, *могла бы* повзрослеть, следовательно, я *должен был бы* уважать ее. Я мало что знал о том, как уничтожили надежды многообещающей и такой короткой жизни. Бесследное исчезновение девочки символизировало удар топором по нашей истории, нанесенный нацизмом, зияющую дыру в повествовании о нашем роде. Ничто не могло заполнить эту пустоту, излечить эту рану, тем более болезненную, что все о ней молчали.

«Великий диктатор» вышел на экраны в Париже. Можешь считать упоминание этой картины в моей книге данью чаплинскому гению, но вот что я тебе скажу: режиссеру уда-

лось невозможное – *Аденоид Хинкель* стал для меня «настоящим», живым человеком, а Гитлер – карикатурой. Я с трудом воспринимал свастику как символ нацизма – у героев фильма на повязках красовались два креста на белом круге. *Хинкель источал ненависть и смерть*, и его дикие вопли совсем не казались мне смешными. Этот фильм – предтеча реальности! – стал для меня первым документальным представлением о механизмах Катастрофы.

Андре Шварц-Барт⁶ тогда только что получил в 1959-м Гонкуровскую премию за «Последнего праведника»⁷, и директор школы прочел нам последнюю главу книги, ту, где всех убивают в газовой камере, замаскированной под душевую. Всех – мужчин, женщин, детей... Описание смерти в темноте было таким ярким, что у меня снова начались кошмары. Более четкие, клинические, но оттого не менее пугающие.

Один соученик, Дидье, все время твердил о месте под названием *Швиц*, о нем говорили в его семье. Дидье упоми-

⁶ Андре Шварц-Барт (1928–2006) – французский писатель, еврей, чьи родные погибли в Аушвице. Он примкнул к Сопротивлению, ушел в партизаны, воевал до конца войны.

⁷ «Последний праведник» – легенда о тайном праведнике, одном из 36-ти, присутствующих на Земле в каждый момент, не будь их, человечество задохнулось бы от мук. Герои книги – члены семьи Леви. В каждом ее поколении есть такой праведник, последний из них, Эрни, гибнет в газовой камере. В центре романа – увиденная еврейским ребенком картина нарастания антисемитских и нацистских настроений в провинциальном немецком городке, особенно в детской среде и школе.

нал *Швиц* во дворе, за столом, в классе, а мы заворуженно внимали. Люди умирали там, претерпев чудовищные пытки, это «там» не находилось ни во времени, ни в пространстве. И все-таки где-то Швиц существовал на самом деле. Дидье, безусловно, *знал*, о чем говорил: Швиц, который он описывал, был правдоподобнее пещеры Али-Бабы, страшнее Питчипоя⁸ и логова циклопа Полифема из «Одиссеи», но дело было не в таланте рассказчика, а в том, как откликалась на слова моя душа, почти соблазненная и одновременно обескураженная подобными ужасами.

Я не стал спрашивать отца – дождался свидания с тобой в Кёльне и завел разговор о Швице. Твой друг-бельгиец сразу сделал выразительный жест – чиркнул ногтем большого пальца по шее и гадко цыкнул, ты воскликнула: «Молчи!» – озвучив его.

Обрывочные объяснения склеились друг с другом в произвольном порядке: Лидия – депортация – *Швиц*, – и я смог

⁸ *Pitchi-Poi* – Питчипой. На идиш – затерянная дыра, совсем маленькая деревушка в несколько домов, настолько бедная, что в ней нет раввина и ни одна сваха не пожелала бы попасть туда. С начала Второй мировой войны и Холокоста использовалось евреями Франции и других стран (не без доли черного юмора) для обозначения неизвестного, таинственного и страшного места назначения конвоев с депортированными, там, где-то очень далеко, «на востоке». Этот неологизм встречается в рассказах детей, которые были интернированы: «Только позже я узнал, что он вернулся из этого места, которое мы называли *Pitchipoï*, и чье настоящее имя было Освенцим-Биркенау» (Жан-Клод Московичи (род. в 1936 г. в Париже) – французский педиатр-еврей, ребенком переживший Холокост, автор автобиографического рассказа «Путешествие в Питчипой».)

вычленишь одну деталь. Ты кое-что передала мне, и я стал смертником с отсроченным исполнением казни. То есть евреем.

Теперь я могу признаться: очень долго это было для меня опасной обузой, тем, что следовало скрывать. По возможности. Помню, как группа ребяташек пыталась силой затащить меня в один из кёльнских соборов, а я не знал, должен ли «признаться», *почему* мне там не место... Сам того не понимая, я примерял рубище еврея из гетто, который, выйдя за его стены, терпит оскорбления и горбится под ударами толпы.

Мне предстояло разобраться в противоречивых, тревожащих душу фактах и понять, когда История мира и наша история вошли в противоречие. Случилось это, конечно же, в Германии.

Мне и сегодня непонятно твое упорное желание вернуться в эту страну. Тебе там было не место. Да, мы часто проводили в Германии отпуск, но поселиться навсегда... Ты трудилась, как каторжная, чтобы удержать на плаву салон *Paris-Beauté*, бросая вызов почтенному городу Кёльну. Шло время, и я все яснее различал в твоём немецком французский акцент. Общаясь с клиентками, ты то и дело восклицала «Да ну?» и «Нет!». Не знаю, делала ты это намеренно, чтобы подтвердить «французскость» своего заведения, или устанавливала дистанцию между собой и дамочками в креслах.

В друзьях у тебя были одни французы, ну или франкофоны. Твое положение в Кёльне выглядело сугубо двусмысленным. Ты находилась далеко от семьи и была вольна жить как хотела, никто не мог осудить тебя за гипотетические шалости и похождения, но тебе не удалось создать «привязок по месту» и почувствовать себя дома. Точно так же – заинтересованно, но и отстраненно – ты относилась ко мне, и я перенял у тебя эту манеру.

Салон *Paris-Beauté* процветал и считался почтенным заведением, «маленькая француженка» потихоньку приобретала в Кёльне известность, хотя сначала пришлось на всем экономить, ты даже ночевала тут же, в холле на синем раскладном диване. Позже у тебя появилось хорошее жилье, квартира, где я мог оставаться один и читать, пока ты была на работе. Ты не умела знакомить меня с ровесниками, а я понятия не имел, как заводятся друзья. Виновата была не застенчивость, а моя дикость. Сначала я проводил все дни в салоне, ужасно скучал и то и дело пытался привлечь твое внимание, даже если ты была занята с клиенткой. С тех пор томная обстановка и резкие запахи действуют на меня угнетающе, я вспоминаю свое «гаремное» существование и смутную тревогу из-за соседства с расслабленными женщинами. Я не мог их заинтересовать по причине малолетства и удостоивался от пришедших на завивку толстых нейтральных *Guten Tag* и *Danke schön*⁹.

⁹ Здравствуйте. Спасибо (нем.).

Одна из твоих подруг, Рут, оказалась очень важным для меня человеком. Эта немецкая еврейка всю войну пряталась, скитаясь по убежищам. Она свободно владела французским и наверняка сблизилась бы с тобой еще в годы оккупации, как бельгийки Элен Верник¹⁰ и Фанни Корнблум, но ваши пути разошлись. Ты была маленькой, кругленькой рыжеволосой женщиной с молочно-белой кожей, Рут являла собой полную твою противоположность. Высокая, худая, темноволосяя, загорелая летом и зимой, она отличалась красотой и очарованием, живостью, чувствительностью и умением слушать и не судить. Никого и никогда. Ей ты могла поверить малую толику своих страданий, прошлых и настоящих.

Вы очень любили друг друга. Я тоже любил Рут – потому что ее любила ты и потому что в то время из всех взрослых только она замечала меня и принимала всерьез.

Укорениться в Германии тебе мешали не только материальные проблемы и бюрократические препоны. Ты провела в этой стране часть детства и видела, как набирает силу варварство. Ты владела всеми то́нами и регистрами немецкого языка, знала детские стихи и считалки, слышала речь эсэсовцев и чиновников. Последняя вряд ли была приятна твоему слуху.

До середины 60-х годов на Кёльне лежал отпечаток войны, напоминавший тебе, что этот город лишился невинности

¹⁰ Женщин из оркестра я называю теми именами и фамилиями, которые они носили в момент депортации. См. таблицу. – *Прим. авт.*

в момент триумфа варваров. Некоторые здания лежали в руинах, другие выглядели слишком новыми, во многих стенах зияли пробоины от снарядов, кое-где даже не успели привести в порядок дороги. Оставила свой след минувшая бойня и на людях — они выглядели постаревшими от лишений и горя, многие носили желтые нарукавные повязки с черным треугольником, составленным из трех точек — знак инвалидности или слепоты. Я уже знал, успел прочесть, что тридцать лет назад это сочетание цветов — черный на желтом фоне — обозначало иную судьбу: то была позорная и смертоносная звезда Давида. Немцы, взрослые и дети, здоровались, щелкая каблуками и резко кивая, отчего я всегда вздрагивал, а ты бледнела и менялась в лице. Ты, должно быть, спрашивала себя: а чем занимались эти уважаемые старички пятнадцать лет назад? Я думал о том же, но ни разу не осмелился задать вопрос в лоб — ни тебе, ни им.

Пострадали — увы! — и мозги: вся Германия испытала шок, когда незадолго до открытия новой Кёльнской синагоги какие-то подонки нарисовали на ограде несколько паучьих свастик и написали *Juden Raus!*¹¹

Я понял, что История вездесуща, когда в Германии поставили спектакль по «Дневнику Анны Франк».

Ты хотела, чтобы мы вместе посмотрели эту пьесу, хотя я тогда только-только начинал осваивать немецкий. Я знал,

¹¹ Евреи, вон! (нем.)

что мне будет скучно, что я ничего не пойму... Ты сумела затащить меня в театр, только посулив несколько походов в кино. Все вышло именно так, как я предполагал, а потом случилось чудо: ты вдруг открылась – рассказала и о депортации в Берген-Бельзен, и о тифе, и о том, что едва не умерла.

Значит, ты была в месте с этим странным названием, где могла не только встретить знаменитость вроде Анны Франк, но и умереть. Даже человек, привычный к немецкому языку – я, например, – чувствовал особый темный экзотизм в «считалке» из четырех ударных слогов: *Бер-Ген-Бель-Зен*. Правильно ли будет назвать травматичным момент столкновения с ужасом, оставшимся в прошлом, но не утратившим силы, который я всегда подсознательно ощущал, а теперь увидел его очертания благодаря четырем «шершавым» слогам?

Одна из самых горьких моих печалей заключается в том, что сказанная тобой тем вечером малая малость так и осталась единственной в нашей жизни. Несколько твоих слов позволили мне *начать* размышлять обо всем этом, вместо того чтобы жить погруженным в кошмар. Слова были обтекаемые, но веские, наложенные на туман впечатлений и совершенно разрозненные фрагменты – Лидия, нацизм, твое прошлое молчание, Анна Франк... Все, что существовало вокруг меня в виде бесформенной кучи перегноя, не сложилось в стройную схему по мановению волшебной палочки, но вместо хаоса, порождавшего мои страхи, возникло нечто, на что я мог опереться. Ты наконец явилась мне во всей

полноте, произнеся несколько фраз, мы сумели вступить в настоящий диалог, потому что ты больше не таилась. Этот акт доверия до конца дней будет заставлять меня жалеть о несбывшемся, о том, как могла бы сложиться наша жизнь, выбери ты правду, а не молчание.

Я увлекся литературой. Первой книгой стал «Дневник Анны Франк», его я прочел несколько раз. Наверное, надеялся встретить тебя, перевернув очередную страницу... Потом были «Исход» и «Милая, 18» Леона Юриса¹². Первый роман повествовал о рождении государства Израиль, увиденном глазами выживших узников концлагерей. Во второй описывалось восстание в Варшавском гетто. Главные персонажи легко опознавались. *Швиц* моего детства стал Аушвицем. Я осознал, что, с точки зрения реальности, верх зла из детских кошмаров был не более чем милыми стишками.

В какой-то деревушке на востоке
Есть соломенный дом.
Падает дождь, идет снег.
Здесь живут два соседа,
Сотики, Мотики,
Сотсе, Мотсе,

¹² Леон Юрис (1924–2003) – американский писатель еврейского происхождения. Мировую известность принес Юрису роман «Экзодус» («Исход», 1958), в котором воссоздается исторический период, предшествовавший провозглашению государства Израиль, и события Войны за независимость.

То, о чем мы молчали, открывалось мне благодаря художественной литературе и не менее выразительным свидетельствам очевидцев. В то время документы были практически недоступны.

Все это не объясняло твоего отсутствия и нашей неспособности общаться. Да, *нашей*, потому что она стала взаимной. Моя жадность до сюжетов, так жестоко тебя затронувших, вкупе с бурными спорами о «концлагерном феномене», незаметно отдалили нас друг от друга. Я приобщал тебя к массе безликих «депортированных», невольно затушевывая специфичность твоего пути *до* твоей особой истории.

Я не мог прямо спросить, как повлияло на тебя пережитое в концлагере, и не умел объяснить, как сильно это задевает меня. Углубляющееся знание «лагерного опыта» дало ответ на ключевой вопрос «Кто я?», который дети задают родителям: «Я из Аушвица, моя история началась там. Моя личность сформировалась там, мои корни – там».

То, что меня волновало, в очередной раз переплелось с Историей. Я нуждался в данных, на которые мог бы опереться. Не знать, кто ты на самом деле такой, из-за упорного нежелания матери и других родственников объясниться, бы-

¹³ Колыбельная в деревне Питчипой. По: Рубин Р. *Еврейская жизнь «Старая страна», Нью-Йорк, 1958.*

ло мучительно, моя жизнь в прямом смысле слова становилась невозможной. Мне пришлось преодолеть два глобальных кризиса – катаклизм взросления и 1964 год, – только после этого я начал лучше понимать пережитый тобой ужас.

В Кёльне будущее казалось тебе неведомым и мрачным, ты представляла себя одинокой старухой и ужасалась. Тебе хотелось снова создать семью и – главное – родить ребенка. Если получится – девочку, и назвать ее Лидией в честь исчезнувшей малышки, исправив тем самым прошлое.

Семья не сразу, но все-таки нашла для тебя мужа и отца будущей Лидии, в глухом углу Соединенных Штатов Америки. Когда план приобрел конкретные очертания, ты не смогла поговорить со мной об этом наедине. Тебе почему-то показалось, что будет лучше, если всё объяснят и оправдают другие.

Я до сих пор помню, как мы сидели за столом в семейной гостиной: я, ты, твоя мать и твой отчим. Он начал с того, что спросил шутливым тоном, как бы я отнесся к твоему новому замужеству. Ты молчала и явно не собиралась участвовать в разговоре. Та печальная сцена напоминала итальянскую комедию, вывернутый наизнанку мир... Все оказалось очень просто: я должен был дать согласие на свадьбу и отъезд за тридевять земель.

Я сразу понял, что со мной не шутят и решение *уже* принято. Помню, как сказал, внезапно лишившись сил (убил бы себя за это!), что мне остается смириться, ведь я не хочу по-

терять тебя совсем. Перспектива была проста: встреча раз в год, и это в лучшем случае: в начале 60-х путешествие в Америку относилось к роскоши, недоступной большинству людей. Сегодня я изумляюсь и возмущаюсь своей тогдашней неспособностью хотя бы пожаловаться, не то что возмутиться.

Я дал согласие на союз без страсти, на «брак по расчету», ненавидя «разумных» людей, которые не могли стерпеть тебя свободной, руководили твоей жизнью и – главное – разлучали нас. Тридцать пять лет спустя я все еще спрашиваю себя: «Что, если она втайне надеялась, что со мной случится эпилептический припадок, что я буду шантажировать бабушку, грозя убить себя, если нам придется расстаться, что помогу тебе определиться, дав понять, что готов сражаться?»

Я промолчал и не могу себе этого простить, но в тот день кипевшая в душе ярость была направлена и на тебя... и на меня самого. Наверное, я унаследовал от тебя не только мигрени, но и склонность к самоуничтожению.

И ты покинула Германию и вышла замуж за океаном. Летом 63-го, когда я прилетел повидаться с тобой, моя сестра Лидия уже родилась. Мы не чувствовали близости, редко виделись и еще реже разговаривали. Я гулял – один, ходил в кино и в боулинг – тоже один. Читал у себя в комнате. Ты выглядела усталой – роды дались тебе нелегко, – много времени требовалось на уход за малышкой.

Ты жила с мужем и дочерью (тогда я еще не воспринимал ее как сестру) в маленьком доме, в городе на американском Среднем Западе: Фредерик, Оклахома. Триста пятьдесят километров на юго-запад от Далласа, что в Техасе. Главная улица, три тысячи жителей, тридцать церквей, кинотеатр и бассейн: пустыня. Главная общественная активность, как мне казалось, состояла в визитах к соседям, восхищенном осмотре новых морозильных камер и барбекю.



В Соединенных Штатах

Я не понимал тебя, ты выражала привязанность, даря по-

дарки. Бесценным «Паркером» пишу до сих пор.

Твой муж, человек умный и с чувством юмора, был, судя по всему, очень к тебе привязан и привечал меня, но ты выглядела потухшей и бесплотной, как призрак.

Неудачное свидание с тобой в Америке оказалось для меня в порядке вещей – в Кёльне все происходило так же. Мы не могли знать, что эта встреча была последней. В аэропорту я обнял тебя за плечи, печальную и словно бы потерявшуюся, и сказал в утешение, что скоро вернусь. Как будто это зависело от меня! Слова теснились в голове, я давился рыданиями, ты наверняка тоже. Я сумел выговорить нелепое «До скорого!» – и терзаюсь до сих пор, что не признался, как тяжела для меня разлука и как я хочу лучше узнать тебя.

Кёльн, июль 1964-го

Паровозный гудок призывает отъезжающих подняться в вагоны, и мама сейчас оставит меня. Чтобы попасть на платформу, ей нужно дойти по длинному коридору до входа, и я не успеваю дотянуться, удержать ее. Мама удаляется и как будто тает в воздухе, я зову ее, она оборачивается и коротко улыбается мне.

На каникулах я приехал в Кёльн, и Рут сообщила мне о смерти Эльзы и похоронах, состоявшихся на техасском кладбище в Уичито-Фолс.

Я много месяцев пытался – и не мог – забыть, что она больна раком. Мама писала, что несколько раз в неделю ез-

дит в больницу облучать многочисленные кисты. На сей раз отец оказался на высоте положения и пытался подготовить меня, но *неизбежное* было так тяжело и невозможно горестно, что я мысленно стер его.

А потом пришла телеграмма с извещением о «событии», и притворяться дальше стало бессмысленно. Я мог сколь угодно долго молить всех богов, чтобы эти слова никогда не прозвучали, ни Всевышний, ни Олимпийцы меня не услышали.

Я, как все и каждый в подобных обстоятельствах, пытался мысленно представить ее образ – оказалось, что помню лишь тембр голоса. В тот момент мамин облик окончательно растаял, улетучился, но она осталась со мной. Думаю, так случилось, потому что я не смог простить ей этого окончательного и бесповоротного расставания. Десять тысяч километров превратили маму в неуловимую абстракцию. И только тридцать лет спустя, увидев фотографию могилы в бумагах сестры, я «надел траур» и отгоревал как положено.

В ту первую «сиротскую» ночь я не подпустил к себе безумие только благодаря дикой, почти первобытной ярости, переполнявшей душу. Те же разумные люди, которых я – справедливо или нет – считал частично виновными в случившемся, теперь хотели, чтобы ребенок поблагодарил Господа за то, что «Он прибрал ее». Ее, которая никогда осознанно никому не делала зла. Рут соглашалась с ними – не знаю почему, может, считала, что это отвлечет меня, или уважала волю старших, или верила, что так правильно.

Я подчинился, хотя считал просьбу нелепой и чувствовал отвращение ко всем, кроме Рут. Тогда я последний раз побывал в синагоге. Нелепые старики, читавшие молитвы, раскачиваясь вперед и назад, как настоящие психи, уж точно не смогли бы воскресить мою давно утраченную веру.

Преждевременная смерть Эльзы возымела парадоксальные последствия. Изувеченная болезнью, она превратилась в святую, волшебную, неприкасаемую героиню. Эльза заняла в моей семье символическое место румяной малышки Лидии. Образовался тайный круг ее почитателей, поддерживавших «священный огонь» на алтаре. Я в их число не входил. Мать и отчим Эльзы играли роль распорядителей, они исключали меня из сообщества, когда по любому поводу начинали шумно рыдать. Почему они так поступали? Хотели, чтобы окружающие восхищались их страданиями. Недвижный бесплотный предмет, выдаваемый за мою усопшую мать, был всего лишь воображаемым мавзолеем. Я его ненавидел, он был мне ненавистен, потому что скрывал все, что в ней было живого и непосредственного, усугублял тяжесть тайны и отдалял меня от матери, совсем как при ее жизни.

Я реагировал, как типичный подросток, не хотел утратить связь с Эльзой, которая по мере моего взросления наполнялась все большим смыслом, и потому отодвинул от себя все упрощенные представления... вместе с теми, кто пытался

мне их внушить. Я быстро понял, что у всех родственников, в том числе у меня, была своя вина перед Эльзой, и заключалась она в том, что никому из нас не пришлось выживать, как ей. Мы были виноваты, потому что не отправились *туда*, откуда не вернулись Лидия, Роза, Давид, мой дед и великое множество других людей. Окружавший их «заговор молчания» тяготил меня все сильнее.

Я не был ни лучше, ни чище остальных. Я боролся в одиночку, яростно и бестрепетно, чтобы сохранить живой память об Эльзе, несколько не похожую на созданный взрослыми образ в золоченой раме.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.